

Александр Амфитеатров

**Дом литераторов в
Петрограде 1919-1921
годов**



Александр Валентинович
Амфитеатров

Дом литераторов в Петрограде 1919-1921 годов

«Октябрьская революция 1917 года, упраздняя буржуазию, причислила к ней все свободные профессии интеллигентного труда, и в конце концов в процессе упразднения они пострадали несравнимо более, чем капиталистическая буржуазия, против которой истребительный поход пролетариата был объявлен. Смею сказать больше: по правде-то говоря, только они одни настолько пострадали. Капиталисты чашу петроградских мучений лишь пригубили, мы же выпили до дна...»

**Александр Валентинович
Амфитеатров
Дом литераторов в
Петрограде 1919–1921 годов**

Октябрьская революция 1917 года, упраздняя буржуазию, причислила к ней все свободные профессии интеллигентного труда, и в конце концов в процессе упразднения они пострадали несравнимо более, чем капиталистическая буржуазия, против которой истребительный поход пролетариата был объявлен. Смею сказать больше: по правде-то говоря, только они одни настолько пострадали. Капиталисты чашу петроградских мучений лишь пригубили, мы же выпили до дна. Если не сам пролетариат ручного труда, то коноводы из «запломбированного вагона», овладевшие воображением и волею темных масс, обрушились на пролетариат интеллигентный с яростью ревнивых соперников, сознающих случайность и условность своей победы и плохо верующих в ее прочность, а потому с болезненной подозрительностью устраняющих с пути своего все коллективы и индивидуальности, в коих им чувствуется или чудится опасность влияния инакомыслящего. Среди предметов этой подозрительной ревности на первом месте оказались литература вообще и журналистика в особенности. В ярост-

ных советских тисках, под нажимом Володарского, Лисовского, Кузьмина, быстро повымерли в течение каких-нибудь девяти месяцев даже самые прочные, старые и богатые периодические издания былой России. Когда в августе 1918 года советский декрет уничтожил бытие буржуазной прессы гласно и официально, он, собственно, подтверждал (*un fait accompli* уже произошедшее), совершившийся факт. В Петрограде, так еще недавно главном центре русской журналистики, влачила тогда жалкое существование уже только одна-единственная газета – последняя, с призрачным самообманом все-таки как будто «независимого издания».

И какая это была газета! «Петроградский листок», еще в 1917 году любимый уличный орган дворников, швейцаров, извозчиков, мелких лавочников и тому подобного темного люда, включая сюда и часть рабочих, настроенную сочувственно монархии Романовых и православной церкви. Орган «черной сотни», «Листок», понятно, так и руководился, и составлялся в неизменно-черносотенном тоне и порядке сочувственными элементами из

«бывших людей» литературы. До революции о «Петроградском листке» почиталось неловким даже упомянуть в порядочном обществе. Появление литератора с именем на его столбцах было невозможно, как некое неприличное чудо. Когда А. И. Куприн, по неистощимому добродушию своему, дал туда какой-то свой мелкий рассказец, это произвело в петроградском литературном мире впечатление скандала.

Но теперь, уцелевший дольше всех соседей, благодаря своей черносотенной публике, этот ничтожный и презираемый «Петроградский листок» торчал над всеобщим потоком журналистики как одинокий крошечный островок. И подобно зверям, бегущим от наводнения, собрались и столпились на нем всевозможные живые обломки распущенных редакций, исчезнувших изданий. Во главе газеты стал видный литератор, популярный и заслуженный критик А. А. Измайлов. В газете начали появляться статьи Ф. К. Сологуба, Д. С. Мережковского, Вас. Ив. Немировича-Данченко, А. И. Куприна, П. П. Гнедича, В. Ф. Боцяновского, мои, модных поэтов, профессоров универ-

ситета, публицистов из закрытых больших газет – «Речи», «Дня» и др. Понятно, что орган изменил свою физиономию и направление. Из монархического он превратился в либерально-демократический, даже с оттенком утопического социализма, впрочем, весьма бледно-розового. Антикоммунистический дух скорее чувствовался, чем сказывался; скорее подозревался, чем выявлялся. Потому что почтенный радикал наш милейший А. А. Измайлов ненавидел большевиков до кровомщения, но напуган ими был до паники и чуть не падал в обморок при каждом слове, уязвлявшем торжествующих олигархов лжекоммуны прямо и открыто. Сбереечь газету от закрытия как можно дольше было его главной задачей, да и требованием издателей. Надо заметить, что эти последние вовсе не были счастливы перерождением своего «Листка» в литературный орган. Как бы ни странно показалось, но мы, писатели с именами, каждый имевший свою обширную аудиторию, не только не подняли тираж «Листка», но, напротив, уронили его. Наша привычная публика не успела прийти к нам под старую сомни-

тельную вывеску, а для бывшей публики «Листка», уличной, мы оказались мудрены, и она отхлынула от газеты. Кто ее читал и обогащал, лучше всего покажет следующий эпизод. На одном из редакционных собраний был поднят вопрос об улучшении бумаги. Издатель, г. Владимирский, отказал в нем наотрез.

– Почему? – изумлялись и спорили мы. – Ведь если газета примет более приличный вид, это лишний шанс на ее успешное распространение в обществе, которое сейчас чуждается «Листка» отчасти и за его отвратительный вид. Ведь согласитесь, что нельзя найти более гнусной бумаги, чем ваша...

– Гнусная-то она гнусная, – подтвердил издатель, – но не обижайтесь, господа, если я вам скажу по секрету, что добрая треть нашей публики покупает «Листок» совсем не ради прекрасных сочинений, которые вы в нем печатаете, а ради вот именно этой гнусной бумаги... Потому что рабочий и мастеровой человек газету сперва читает, а потом из нее сигарку вертит, – ну, и за «Листком» имеется уже многолетняя слава на этот счет, что для сигарок лучше его бумаги нету.

Полагаю, что нарисованной мною картины «последнего прибежища» достаточно для характеристики трагического унижения, до которого доведена была русская журналистика к моменту ее официального прикрытия. Расстаться с подобным прозябанием не создавало ни для кого из нас моральной утраты. О себе лично могу сказать, что я почти обрадовался запретительному декрету. По крайней мере, определенный конец, и нет больше соблазна к бессильному влиянию словом так и сяк, на почве недоговоренных намеков, обиняков и всяческих обходных компромиссов. Бывало, при царском режиме идти с гибким и лукавым оружием эзопова языка против мощных столпов самодержавия – Плеве, Столыпина, самого Николая – доставляло удовлетворение, как ловкий и смелый подвиг. Но прятать свою мысль в маску эзопова языка от каких-то неведомых проходимцев, вынырнувших на Русь из глубины немецкого «запломбированного вагона», от «псевдонимов» Ленина, Троцкого, Зиновьева, Урицкого, Володарского, – несносно унижительное обязательство. Тут при всей охоте и привычке говорить

с публикой лучше предпочтешь закусить гу-бы и молчать.

Но материальный эффект запретительного декрета был ужасен. Он прозвучал символом безусловной и безнадежной безработицы. Приказом:

– Литературная братия! Ты не должна больше существовать. Коммунистическое государство объявляет тебя ненужной и вредной. А потому – ложись и умирай голодной смертью.

Спасти от таковой можно было, только бросившись к ногам большевиков. Кое-кто из литературной мелочи так и поступил. Из крупных писателей – лишь один: старый, маститый перевертень Иероним Ясинский – закоренелая в продажности сабля, о которой можно сказать древнею русской пословицею, что она служила в семи ордах семи царям. Он припал к стопам победителей немедленно после Октябрьской революции, чуть ли не опередив в том даже пресловутого коленопреклонения то пред сим, то пред оным режимом певца Шаляпина. За что и был награжден от комиссара Луначарского восторжен-

ным титулом «Симеона Богоприимца, вышедшего во спасение новорожденному Христу революции». Но, к чести петроградской литературы и журналистики, необходимо отметить, что пример г. Ясинского остался тогда без подражателей и последователей. Сейчас, после четырехлетней голодовки, многие приманились хлебами большевиков и застрочили хвалы им в заграничных рептилиях Кремля и Смольного. Но в 1918 году гг. Адрианов, Ашешов, Муйжель, Тан и другие вновь приобретенные чемпионы советской публицистики плюнули бы в глаза тому, кто осмелился бы предсказать им, что в 1921 году они сделаются придворными певцами славы Ленина, Троцкого и Зиновьева и яростными патриотами РСФСР. Более того: я уверен, что в то раннее время о верноподданнической присяге большевикам еще не помышляли даже такие «переметные сумы», как профессор Гредескул и сам себя возведший в профессора библиограф Лемке, первые пташки, перепорхнувшие из петроградской голодной журналистики к лакомым крошкам, обильно роняемым со стола ликующей Петрокоммуны.

Итак, вся независимая петроградская литература оказалась в беспримерно-ужасной обреченности, и ужас рос со дня на день, из часа в час все свирепее, все острее. Организации литературной взаимопомощи никогда не были сильны в России, а Октябрьская революция уж и вовсе их придушила. Правительство откровенно и систематически вгоняло нас в гроб. Общество, запуганное, порабощенное, ослабевшее от голода, ослабевшее от страха, безмолвствовало. В потоке, залившем нас, не плавало ни бревнышка, ни полешка, за которое можно было бы продержаться с надеждой на спасение. Утопающий, говорят, хватается за соломинку. Таковые к нам в потоке бросались, и даже во множестве. Но большинство из них, помимо своего бессилия, бывало и довольно-таки сомнительного свойства. Вроде хотя бы пресловутой «Всемирной литературы» М. Горького, о которой я и сейчас не могу решить, что представляет собою это учреждение: крайне ли неудачный и бестактный опыт сентиментальной филантропии или, наоборот, весьма удачный и ловкий опыт дешевой эксплуатации полумертвых от голода

и холода, обездоленных и обезволенных людей, которые обрадовались возможности закабалиться на труд – пусть каторжный, черный, да «нейтральный» и, следовательно, не зазорный. Работали во «Всемирной литературе» едва ли не все наличные петроградские силы. Я лично знаю лишь единственное исключение – фанатичную старушку-народницу еще 70-х годов, дряхлую подругу поэта Надсона. Ее подозрительность и здесь рассмотрела недозволительный компромисс с большевиками, в лице их агента, «двуличного» М. Горького, которого она не уставала награждать эпитетами более чем нелестными. Но, за исключением разве самых наивных энтузиастов либо страстных графоманов или, наоборот, уж очень продувных дельцов, почти все рано или поздно отставали от этой громадно и претенциозно заведенной переводной машины, разглядев дутый характер предприятия, в котором «покушение с негодными средствами» рождало «вовлечение в невыгодную сделку». Громко хвастливая своим благотворительным значением, «Всемирная литература» оплачивала рабочий день

своего сотрудника грошами, не позволившими купить фунт хлеба на рынке по вольной цене. А что касается литературных результатов, отсутствие у издательства бумаги, типографии и кредитов превращало работу чуть ли не тысячи человек, всех представителей «мозга страны», в пустопорожнее водотолчение в ступе. И на такую-то чепуху тратились первоклассные творческие силы народа! Блок, Гумилев, Ахматова, Мережковский, Гиппиус, Сологуб, Куприн... кто только не был закрепощен этой «Всемирной литературой» с ее подачками камня вместо хлеба? От голода и холода «Всемирная литература» никого не спасла, чему лучшими свидетелями являются многочисленные имена ее ближайших сотрудников, например поэта Блока, историка литературы Батюшкова, автора лучшего русского перевода «Фауста» Гете и европейски прославленного ученого-зоолога Холодковского, умерших от голодного истощения. Но советской власти она оказала несомненную услугу, как одна из красивых ширм, которые своей якобы «культурно-просветительной» внешностью несколько заслоняют яростную

борьбу захватчиков-олигархов со всеми наследиями русской культуры» и помогают Горькому, Красину, Луначарскому, Крестинскому и тому подобным обманывать общественное мнение Европы. К сожалению, имя Горького связано почти со всеми такими учреждениями-ширмами, подобными зеленым занавескам, прикрывающим непристойные картины. Славны бубны за горами, но кто наблюдал их добросовестно и вблизи, того они провести не могут. Грубо лицемерный характер их был подмечен даже таким двусмысленным путешественником и присяжным хвалителем большевиков, как Г. Уэллс. Внутри же страны все эти «Дом ученых», «Дом искусств», «Всемирная литература» содействуют, в существе своем, одной цели: срывать забастовку интеллигенции и литературный саботаж. Нащупывать в литературной среде слабость, хилость, неустойчивость, которые, при необычном нажиме обстоятельств, не выдержат характера и пойдут на компромиссы с торжествующей политической котерией.

Цель эта была угадана литературным ми-

ром. Как ни был он слаб, беден, угнетен, однако не позволил проглотить себя беззащитно. Коммунистическая революция душила нас мертвою хваткою, но ее конституция не могла отказать нам в некотором подобии автономной хозяйственной организации. Таковая сложилась еще раньше Октябрьской революции, в последние годы войны, в виде кооператива при Союзе журналистов, выросшем после Февральской революции в большую силу. Главные распорядительские роли в этом Союзе распределились между сотрудниками распространенной кадетской газеты «Речь», преимущественно репортерами. Дело у них шло великолепно. Кооператив журналистов славился по Петрограду как один из самых благоустроенных и наилучше обслуженных. Путем его Союз сколотил довольно значительный капитал, из которого поддерживал десятки писателей, оставшихся без заработка в результате эпидемического закрытия газет и журналов. Когда советская власть, в «планетарном эксперименте» коммунистической централизации государственного хозяйства, принялась за глупейший разгром кооперати-

вов, – в которых, к слову сказать, она теперь видит единственное средство питать оскудевшие города, – кооператив журналистов энергией и искусной дипломатией своих заправил затянул свою ликвидацию чуть ли не более всех других и, кажется, успел спасти кое-какие запасы. Союз журналистов, конечно, не мог надолго пережить гибель периодической печати; уже осенью 1918 года дни его, как клуба вымершего сословия, были сочтены. Не помню точно, когда он покончил свое существование. Однако еще в конце декабря его представители А. Е. Кауфман, Л. М. Клячко и Б. О. Харитон принимали энергичное и даже властное участие в организации торжественных похорон одного из величайших мыслителей и героев старой русской народовольческой революции, знаменитого шлиссельбуржца Германа Александровича Лопатина. Я был приглашен в этот траурный комитет, так как был в последние 12 лет жизни Лопатина связан с ним теснейшей дружбой. На одном собрании под председательством В. Н. Фигнер – живо вспоминаю – присутствовал правительственный делегат, комиссар Анцело-

вич, и между ним и представителями Союза журналистов неожиданно закипел горячий спор о правах обреченного на гибель института.

Спасти Союз было невозможно, однако он не умер, но только обмер и после недолгой летаргии воскрес в весьма измененном, но отнюдь не ухудшенном и, напротив, даже расширенном и усовершенствованном виде Дома литераторов.

Он возник очень просто и скромно как заурядная «столовка», в которой выдавался обед, несколько лучший, чем в советских «столовках», за несколько высшую плату. Тогда советское кормление – вернее сказать, массовое отравление населения – не было еще бесплатным. Да лучше было бы и не делать его таковым, потому что, со введением принципа бесплатности, советские столовки, уже и ранее ни на что не похожие, превратились в совершеннейшие клоаки, в которых ужасающее воровство Петрокоммуны соперничало размерами с небрежностью и неумелостью администрации, неряшеством кухни, распущенностью служащих. Так что пресло-

вудое бесплатное кормление, чем бы явиться могучею демагогической мерою, вроде древнеримской анноны (фрументации), быстро выродилось во всеобщее посмешище. Обед литературной столовки стоил вдвое дороже советского, но был впятеро питательнее. Надбавка стоимости как бы заменяла былой членский и кооперативный взнос и содействовала образованию оборотного фонда.

Клиентура литературной столовки выросла в несколько сот душ. Конечно, она не имела права профессионального подбора едоков, но он сделался сам собою. Простою записью сложилось и замкнулось крепкое писательское кольцо, настолько значительное численно, что обвело едва ли не весь петроградский литературный мир. Расторгнуть это кольцо советская власть, хотя и очень им недовольная, почла неловким и невыгодным. Ведь продовольственный кризис все обострялся, коммунистическое хозяйство фатально стремилось к краху, разрушение кооперативов уже обнаружило свою вреднейшую нелепость. Организацию с претензиями автономной самопитаемости коммуна могла отри-

цать и гнать по принципу, но должна была бы, собственно говоря, приветствовать ее по существу, как избавление шеи своей от обузы в несколько сот голодных ртов. К тому же Комиссариат народного просвещения в лице Луначарского и его петроградского заместителя, фамилию которого я, к сожалению, сейчас не вспоминаю, – кажется Гринберг, – был бесконечно сконфужен дикостью коммунистического гонения на литературу, и если не помогал ей, то, по крайней мере, и не распинаял ее, умывая руки, как Пилат. Таким образом, Дому литераторов удалось найти, правда, зыбкое, но все же равновесие – в состоянии «незамечаемости». В тени ее он и начал развиваться.

В качестве «столовки», рассчитанной на 500 едоков, он имел право на обширное помещение. Энергией тех же членов-основателей, Кауфмана, Клячко, Харитона, Волковыского, был выхлопотан и занят большой опустелый барский дом-особняк, с садом, на Бассейной улице, почти при впадении ее в Литейный проспект, – значит, в самом центре столицы. Еще худшим пищевого голода ужасом петроградской интеллигенции был голод топлив-

ный. Мы жили в квартирах, опустелых от мебели, сожженной в печках-буржуйках, при температуре чуть выше, а часто и много ниже нуля, не выходили из теплого верхнего платья, работали в шапках и перчатках либо обмотав коченеющие руки тряпками. Дом литераторов предложил своим членам дневное тепло, а иных, уже вовсе обездомленных холодом либо вселением пролетариата, устраивал и на ночь.

Вокруг тепла естественно было народиться подобно профессиональному клубу, не имевшего ни этого имени, ни санкции, но тем не менее все расширявшего свои функции. Едва минимально были удовлетворены потребности материального порядка, явились запросы духовные. Самым лютым профессиональным злом современной русской литературы была коммунистическая национализация книги, оставившая читающую публику без библиотек и книжных магазинов. Миллионы сокровищ печати погибли в этом варварском процессе в руках равнодушных и невежественных захватчиков. Ни один исторический враг книги не относился к ней

с более безобразным и разрушительным пренебрежением. Двухсотлетнее наследие русской литературы победоносные большевики выбрасывали за борт с таким же усердием, как отцы христианской церкви в IV и V веке – литературу языческую, но с гораздо меньшею разборчивостью. Для примера укажу, что все книжное богатство, многими десятилетиями накопленное в колоссальных складах старинного магазина Тузова, который для всей России был центральным рынком богословской литературы, было препровождено на бумажную фабрику и обращено в массу на выработку бумаги для официальных коммунистических газет. О размерах потери можно судить по тому, что фундаментальный каталог Тузова занимал несколько сот страниц. Подобным же жалким образом погибло множество складов старой педагогической литературы, на первых порах победы надменно объявленной ненужною. Результатом последовал тот ужасный голод на учебные пособия, которым обусловил ось катастрофическое крушение школьного преподавания в Петрограде 1919–1921 годов. От частичного расхищения

не спасались даже книгохранилища, намеченные Наркомпросом к тщательному сбережению. Так как секвестрованные библиотеки распределялись, сообразно их преимущественному содержанию, по специальным ведомствам, то в бесконечных перевозках приходили они в непоправимый хаос. Ни одна библиотека, двинутая с основного места, не доходила по новому адресу не обесцененною попутным разграблением. А то и вовсе пропадала по дороге – неведомо куда. Я сам был свидетелем, как возчики, доставившие в Наркоминдел великолепную библиотеку Пажеского корпуса, любезно угощали роскошными редкими изданиями случайных прохожих. Заинтересуется кто-нибудь громадою красивых книг, похвалит какой-нибудь том:

– Ах, вот славное изданьице... рад был бы его приобрести!

– Так что же, товарищ? Ежели вам нужно, возьмите!

Библиотеку, секвестрованную во французском посольстве, заведующий Наркоминделом держал у себя на квартире – из боязни, что иначе растащат по книжке его же чинов-

ники, охотники до иллюстрированных изданий. Сидя в тюрьме на Шпалерной в марте 1921 года, я был причислен к рабочему составу тюремной библиотеки и, каталогизируя, изумлялся ее нелепой разрозненностью. Между тем в нее целиком вошла очень недурная библиотека присяжного поверенного Холщеникова. Но добрая треть ее улетучилась при перевозке. Так безобразно обращалась советская власть с книгою вообще. Опальные же отделы литературы сознательно и прямо обрекались на исчезновение. В той же тюремной библиотеке нам запрещено было сдавать в переплетную мастерскую книги богословского содержания. Между тем их-то всего больше и спрашивали заключенные, и, следовательно, они-то и больше всех трепались.

Декрет, воспрещавший частным лицам иметь библиотеки свыше 500 томов, остался в конце концов мертвою буквою, однако успев разорить множество книгохранилищ и обездолить сотни слишком поспешивших струсить декрета ученых, литераторов, педагогов, интеллигентов. Дом литераторов поспешил на помощь всем этим горемыкам, оставшим-

ся без своей книги как без рук. Бежал за границу петроградский представитель богатейшей русской газеты, московского «Русского слова», А. В. Руманов, очень состоятельный человек. Дом литераторов спас его превосходную библиотеку, взяв ее в свое пользование. Она положила начало книгохранилищу, возросшему к июлю 1921 года до 30 000 томов, так как, видя счастливый пример румановской библиотеки, многие лица стали жертвовать свои книги Дому литераторов или в собственность, или во временное владение. За библиотечное дело взялись умелые и любящие руки молодого журналиста В. Я. Ирецкого, тоже из бывшей «Речи». Накопление дубликатов, в связи со всевозраставшею писательскою нуждою, вызвало необходимость основать комиссионную книготорговлю, которая теперь, вероятно, обратилась в большой книжный магазин, потому что потребность в таком сказывалась уже в августе. Тогда книготорговлею Дома литераторов заведовала одна из интереснейших и типичнейших фигур его, почтенная М. В. Ватсон, благороднейшая и непоколебимая хранительница

идеалов и традиций старой народнической литературы и либеральной революции 70-х годов. При библиотеке сама собою создалась читальня. Писатели, лишённые холодом и нуждою возможности работать у себя дома, получили угол для своего труда, хотя и очень тесный, но все-таки тёплый и снабжённый изрядным арсеналом литературных пособий. Начал накапливаться литературный музей, архив автографов, портретов, рукописей, реликвий.

Ежедневные встречи писателей у писательского пункта мало-помалу породили профессиональные собрания. Сперва закрытые, потом публичные. Они широко потянули на себя интеллигенцию, дав ей некоторый суррогат того, по чем привычный читатель больше всего скучает: новой книги и журнала. В настоящее время, как я вижу из перепечаток в зарубежной прессе, Дом литераторов издаёт свою «Летопись» как настоящий журнал. Ещё полгода тому назад о такой возможности нечего было и думать. «Летопись Дома литераторов» ютилась своими сухими деловыми отчётами как вуалированный отдел в журна-

ле покойного А. Е. Кауфмана «Вестник литературы» – единственном частном периодическом издании, которое почему-то пользовалось терпимостью большевиков, – правда же, за то и покупая ее совершенную бесцветность содержания. По достигающим нас перепечаткам видно, что «Летопись Дома литераторов» ныне идет тою же безобидною тропюю, доставляя удовольствие тоскующим по перу писателям помещать на ее столбцах невинно-академические статейки. Я должен сознаться, что очень мало сочувствую подобным опытам. Журнал, хотя бы и с преимуществом художественно-литературных интересов, есть дело публицистическое. Настоящая публицистика, смелая, прямая, ясная, в царстве большевиков так же невозможна, как честно-договорная дипломатия или международная торговля с ними. Да нет! Даже невозможнее, ибо честных дипломатов и международных торговцев они только надувают, а прямых и откровенных публицистов расстреливают или сажают в тюрьмы на принудительные работы. Следовательно, всякий журнал, дозволенно возникающий на террито-

рии советской России, является неминуемо органом компромиссов и умолчаний, которыми покупается терпимость Кремля и Смольного. А от всех подобных компромиссов, какими бы изящными целями они ни объяснялись и какие бы почтенные лица в них ни участвовали, все-таки нехорошо пахнет. И хотя, быть может, я огорчу своим мнением многих друзей, одержимых неукротимым писательским зудом, но, по-моему, вести газету или журнал, глядя из зиновьевских рук, значит обманывать и себя, и публику игрою, мало достойною взрослых людей, и платить за самоутешение «печатанья» слишком дорогою ценою.

Суррогатом невознагражденной потери журнала и новой книги Дом литераторов выдвинул широкое развитие своих литературных вечеров. К участию в них были приглашены решительно все выдающиеся писатели Петрограда, исключая лишь явно примкнувших к «торжеству победителей». Читались исключительно новые, ненапечатанные произведения. Начали лекциями историческими, философско-критическими, мемуарными; потом

звели поэзию, потом беллетристику, потом популяризацию новейших открытий. Наконец, известный историк Е. В. Тарле стал читать с блестящим успехом лекции уже чисто публицистического содержания, обзоры современного политического положения Германии, Англии и других европейских государств. Тарле – великолепный оратор и знаток своего предмета, способный увлечь слушателя, даже когда он, как я, например, не согласен с чересчур германофильскою окраскою, которою расцвечены взгляды почтенного профессора. Но, при всем даровании Тарле, бешеный, неслыханный успех его лекций будет понятен в полной мере только тому, кто сам испытал мучительную тоску по европейскому Западу, какою в Петрограде одержим едва ли не каждый сколько-нибудь культурный человек. Ведь вот уже полный год он не слышит об Европе ничего дельного и вероятного – только хвастливое лганье и кривлянье мнимо-пролетарских и лжекоммунистических «Правд» и «Известий»!.. Другим излюбленным лектором Дома литераторов надо назвать маститого юриста, академика и сенато-

ра А. Ф. Кони, справедливо почитаемого самым значительным русским оратором и блестящим писателем-стилистом тургеневской школы. Его появления на кафедре с судебными и литературными воспоминаниями славной восьмидесятилетней жизни – всегда большой праздник для публики. Надо изумляться лекторской энергии этого больного, на костылях движущегося старца. Он как будто изжил все тело свое и теперь весь – дух, ум, память и честное, прочувствованное слово, облекающее такой глубокий психологический анализ людей и событий в такую несравненно изящную форму.

Литературные вечера Дома начались редкими бесплатными выступлениями со свободным входом, приносившими к какому-либо достопамятным литературным датам. Но огромный прилив публики обратил их очень скоро в постоянное учреждение, которое работало ежедневно и еще должно было открыть вспомогательное отделение – в Физической аудитории университета. Введена была платность, возраставшая в цифрах пропорционально падению советского курса,

что нисколько не влияло на посещаемость вечеров. Когда я читал в Доме литераторов впервые, входной билет стоил 50 рублей; когда я читал в последний раз – 1500 рублей. Я не помню чтения, даже из неудачных, когда бы зал не был полон, по крайней мере на три четверти. На выступлениях же любимых Петроградом Кони, Тарле, академика Н. А. Котляревского, поэтов – увы, ныне уже покойных – Блока и Гумилева, историка С. Ф. Платонова, романиста Ф. К. Сологуба здание Дома литераторов ломилось от слушателей; вечера приходилось повторять по два, по три раза. И какая это была хорошая, чуткая публика! Как жадно она слушала, как участливо вникала! Я совсем не большой охотник до публичных выступлений, но ряд своих вечеров в Доме литераторов, когда я трижды читал свою повесть «Зачарованная степь» и, глава за главою, роман «Сестры», останется навсегда в числе моих лучших литературных воспоминаний. Но больше всего полюбила петроградская интеллигенция литературные поминки в разные юбилейные сроки. Дом литераторов устраивал их с большим мастерством и умел обра-

тить некоторые дни в настоящие общественные события. Такова была пушкинская тризна, отмеченная блистательными речами академика Н. А. Котляревского и покойного Блока. Таков был вечер в память Достоевского, когда А. М. Ремизов прочел свою «Огненную Россию», так эффектно, остроумно и патетически снизанную из искусно подобранных предсказаний великого писателя-провидца, горестного пророка наших нынешних бед. Таковы были поминки великого нашего историка В. О. Ключевского с речами профессора Барскова, Кони, Котляревского и моею. Я покинул Петроград, когда Дом литераторов собирался с большим торжеством чествовать шестисотлетнюю годовщину кончины Данте Алигьери. Не знаю, состоялось ли это чествование, затеянное по очень широкой программе. Неведение мое тем стыднее, что инициатива праздника принадлежала мне и я должен был заняться его устройством. Но, увы, жизнь в том *десятом* кругу Дантова ада, который зовется советскою Россией, так отвратительно ужасна, что, когда мне внезапно представился случай из нее вырваться, я, при

всей моей любви к Данте, при всем моем желании достойно почтить его и восславить устами русских писателей и артистов, оставил его годовщину на производящего, а сам бежал без оглядки... Литературные вечера чередовались с камерными концертами. Руководитель музыкального отдела Е. М. Брауде умел придать им серьезный и увлекательный характер. Концерты посещались, пожалуй, еще лучше, чем литературные вечера. Изобилие вечеров имело, однако, и свою отрицательную сторону. Публичность вечеров значительно стеснила внутренний быт Дома литераторов, и многие члены выражали небезосновательное недовольство тем, что наши гости, т. е. вечеровая публика, начинают иметь у нас в Доме чуть ли не больше значения, чем мы сами, хозяева, литераторы. Но вечера были необходимы, потому что как раз в это время большевики нанесли Дому страшный удар, потребовав, чтобы обеды литературной «столовки» также подчинились общему советскому порядку бесплатного питания. Для Дома это было равносильно смертному приговору. Ухудшить своих обедов до равен-

ства с советскими он не мог, не уничтожив тем главного своего назначения – подкармливать голодающий литературный мир. А на хорошие харчи не стало средств, отпала доходность. Отстоять исключение из общего правила нашим дипломатам, понятно, не удалось. Казалось, что теперь избежать гибели Дом мог только сдачею на капитуляцию, поклонившись советскому правительству и поступив на содержание к его казне, по типу филантропически-кабальных учреждений М. Горького. Однако опять-таки невероятным напряжением дипломатической ловкости и финансовой оборотливости как-то вывернулись. Ежедневно полные вечеровые сборы поддерживали, хотя и очень с грехом пополам, шедшую целиком в убыток кухню. Чтобы задержать ее неизбежное банкротство, придумывали всякие обходные ухищрения: добавочные и дежурные блюда за особую плату, буфет, хозяйственные командировки в отдаленные местности для приобретения продуктов по вольным дешевым ценам. Все это, однако, были паллиативы и капли в море основного расхода по обязательству ежедневно

накормить 500 человек лучше, чем кормит Петрокоммуна. Сверх того, большевики, успевшие уже весьма зорко насторожиться против Дома литераторов, безжалостно пресекали его коммерческие ухищрения. Особенно много неудач постигло командировки за дешевыми продуктами. Им чинились всякие препятствия, включительно до арестов уполномоченных агентов Дома. Один из таковых, попав в когти Чрезвычайки сибирского города Челябинска, был заморожен в холодной тюрьме до воспаления легких, и, когда я покидал Петроград, вести о здоровье этого бедняка были очень печальные. Притом одно дело приобрести продукты, а другое – привезти их. По дорогам ведь идет безудержный грабеж – и незаконный, и узаконенный под псевдонимом реквизиции. Вывозит человек пуд, а привозит – дай Бог чтобы десять фунтов. Убийственная медленность разрушенного транспорта приводит в негодность скоропортящиеся продукты. Помню, что в таком черепашьем передвижении нам стноили драгоценность – целый вагон конских голов. Лишь ничтожную часть можно было еще

отобрать для превращения в весьма отвратительную колбасу, да и ту ели уж только очень смелые люди, с риском наглотаться трупного яда. Однако ничего: голодные желудки выдержали. Вдобавок затруднений в самой клиентуре Дома многие не понимали всей серьезности его финансового кризиса. Всякое вздорожание или добавочный расход вызывали громкое неудовольствие в писательской среде, вконец изнервленной бедностью, недоеданием, непосильным трудом, ужасною бытовою обстановкою...

Словом, когда я покинул Петроград в конце августа 1921 года, Дому литераторов приходилось плохо. Он очень напоминал маленькую цитадель, плотно обложенную неприятелем, который решил взять ее не штурмом, но измором. Начинается голод, и гарнизон-то держится еще крепко, но мирное население уже ворчит, и шныряют в нем двуличные смутьяны с двусмысленными речами о бесполезности сопротивления и о выгодах сделки с врагом, который-де хотя и негодяй, но не такой уж скверный черт, как его малюют. Удалось ли Дому еще раз самостоятельно выпу-

таться из своих бед или вынужден был он, наконец, склонить голову пред большевиками, я не знаю. Хотелось бы думать, что все там надежно по-прежнему, хотя вот, с другой стороны, берлинские газеты сообщают о состоявшихся выступлениях на кафедре Дома литераторов нескольких витязей соглашательства, которых доселе к ней на версту не подпускали. И это как будто свидетельствует, что цитадель не выдержала, какие-то компромиссы состоялись. Было бы глубоко жаль, но винить в том пришлось бы отнюдь не Дом литераторов. В последние 1920–1921 годы я был членом правящего его комитета и свидетелем героических усилий правления сохранить независимость учреждения от советского государства и, обходясь своими средствами, сбереечь Дом как последний оплот интеллигентской самодеятельности и самопомощи. На общественную поддержку Дом рассчитывать не мог, при всем сочувствии к нему общества, ибо общество само большевиками раздето, разуто, живет в голоде и холоде. От заграничной помощи мы были отрезаны. Соглашательские учреждения М. Горького на

крыльях большевицкой агентуры легко получали широкую возможность оповещать Европу о своих нуждах и рекламировать то крепостное закабаление ученых и художников, которое льстецы называют просветительной культурной филантропией советского режима. Напротив, об опальном Доме литераторов едва ли не первые слухи проникли за границу через советские заставы только летом 1921 года, благодаря главным образом связям покойного Абрама Евгениевича Кауфмана. Этот редкий человек именно уж положил душу свою за други своя, ибо переутомление на работе помощи братьям-писателям сломило его старческие силы, и в декабре минувшего года он скончался от разрыва сердца.

Это была третья смерть в комитете двадцати, избранных править Домом полгода тому назад. Раньше мы трагически потеряли обоих поэтов нашего содружества. Высокоталантливый, может быть, даже гениальный А. А. Блок погиб жертвою болезни сердца, развившейся на почве голодного истощения и моральных страданий, вызванных глубоким разочарованием в пролетарской революции, которою он

поэтически увлекся было в 1917 году. Интереснейшая, жречески одухотворенная жизнь даровитого Н. С. Гумилева была дико прервана нелепым и подлым расстрелом за мнимую прикосновенность к мнимому заговору Таганцева. Двое из членов комитета, известный беллетрист А. М. Ремизов и я, эмигрировали. По последним газетным известиям, выбыл за границу и товарищ председателя Вас. Ив. Немирович-Данченко. Таким образом, комитет потерял более 25 % своего летнего состава. Остались: председатель академик Н. А. Котляревский, академик А. Ф. Кони, старый публицист «Нового времени» В. С. Кривенко, драматург и режиссер Александрийского театра Евт. Павл. Карпов, знаменитый романист Ф. К. Сологуб, известная беллетристка Е. П. Султанова-Леткова, переводчица северных писателей, классиков скандинавской литературы А. В. Ганзен, почтенный литературный критик «Русского богатства» А. М. Редько, представитель Союза драматических писателей Б. И. Бентовин, музыкальный критик Е. М. Брауде, фельетонист «Речи» В. Я. Ирецкий, репортер «Речи» Б. О. Харитон,

репортеры «Дня» Н. М. Волковыский, В. Б. Петрищев. Последние четверо несли на себе всю тяжесть административного и хозяйственного распорядительства Домом. Из списка этого видно, что в комитете Дома литераторов были представлены все течения бывшей петроградской печати, от народно-социалистического «Русского богатства» и социал-демократического «Дня» до ультрамонархического «Нового времени». Казалось бы, должны были перегрызться, едва сошлись. В действительности под тучею общего бедствия шли дружно, как хорошо спевшийся хор.

Общим соглашением было установлено, что ни правой, ни левой, ни средней политики Дом литераторов не ведет. Он – орган самосохранения *всей* литературной братии от *всем* равно угрожающей гибели, и только. Правило, может быть, узкое, но, во-первых, оно гарантировало Дом от величайшего зла современной петроградской жизни – провокации, а во-вторых, от не менее опасных партийных и фракционных споров и распрей. Наблюдая теперь быт русской эмиграции, я с прискорбием вижу, что в ней от этого второго

зла не отвращает людей даже общее несчастье, даже общая непокрытая нищета. Не знаю – может быть, и наш комитет недолго сохранил бы свою строгую выдержку аполитичности. Тем более что из месяца в месяц плотнее надвигался на нас роковой вопрос о допустимости общения с большевиками, и здесь непримиримость одних рано или поздно должна была порвать с мягкой покладистостью других. Но до августа включительно Дом литераторов осуществлял весьма удачно идиллию мирного жительство, в коем все крайности сходятся и кроткий агнец пасется рядом с лютым, но укрощенным травоядностью тигром. Старуха-народница, всю свою жизнь посвятившая памяти и культу Надсона, спокойно сидела за одним столом со злобным критиком-реакционером, ненавистным ей до глубины души, потому что именно его свирепым и глумливым статьям общество приписывало ускорение кончины больного, мучительно самолюбивого, чутко-нервного поэта. Вся политическая забота безмолвно сосредоточилась на одной твердой задаче: прожить, не сделав ни шагу в сторону торжеству-

ющей, неправо захватной власти, не сделав ни шагу в сторону большевиков.

Скажут: активного героизма в такой программе немного. Верно. Но что же стоила Дому даже и эта пассивная выдержка! Большевики не оптимисты. Покладистая заповедь: «Кто не против нас, тот за нас» – не про них писана. Их догмат: «Кто не с нами, тот против нас». А политика Дома литераторов производила на них раздражающее впечатление политики очень определенного протеста. Она их смущала и пугала, как призрак класса, которого убийством они хвалились. И вот, от заседания к заседанию мы сталкивались с каким-либо новым прямым или косвенным выпадом советского контроля, направленным к стеснению и умертвию Дома литераторов. А на общие собрания жаловали к нам, неизвестно откуда, едва ведомые нам господа с речами и проектами резолюций, либо искушавшими воскурить фимиам пред идолом коммуны, либо, наоборот, приглашавшими уже к столь мужественным дерзновениям, что совершенно ясным становилось, что в кармане у почтенного оратора лежит предусмотренно

заготовленная индугльгенция от Чрезвычайки. Всячески провоцировали, чтобы институт выявил свое «контрреволюционное и антипролетарское настроение». И опять-таки много дипломатического такта нужно было нашим посредникам и парламентарам, в особенности Н. М. Волковыскому, чтобы предупредить и сглаживать бурные взрывы вражды, одинаково готовые разразиться с той и другой стороны. Тем более что если коллектив Дома литераторов заковался в панцирь аполитичности, то отдельные члены его к ношению такового отнюдь не были обязаны, а потому то и дело призывались пред грозные очи чека держать ответ по обвинениям в контрреволюции активной. Из членов комитета Н. С. Гумилева эти подозрения «поставили к стенке», а меня с женою и сыном усадили на прошлую весну в тюрьму.

Сидели в тюрьме В. Я. Ирецкий, поэт Всеволод Рождественский, публицист А. С. Изгоев, А. Н. Слетова... да разве всех пересчитаешь? Расстрелян был репортер «Речи» Берзин... И все это в одном учреждении на протяжении одного года!

Очень немного светлых впечатлений вывел я из советской России – и не только от людей враждебного лже коммунистического лагеря, но и от оппозиционной интеллигенции. Десятки раз на день заставляла она меня повторять печальную сентенцию, что каждое общество получает то правительство, которого оно заслуживает. Дом литераторов все-таки был исключением из общего прискорбного правила. Хотя в том-то отношении, что пусть и он, как военнопленный большевиков, не мог избежать оков и унижений рабства, но в нем не было ни холопства, ни добровольных уклонов. И нищим, в тенета с разбойниками и жуликами скованным, жил он, но себя не проституировал и совести не продавал злодейской шайке. Думаю, что в наш жестокий век это немалая общественная заслуга, и будущий беспристрастный историк переживаемых нами ужасных лет не оставит незамеченною молчаливую борьбу Дома литераторов за свою профессиональную честь, за самостоятельность и человеческое достоинство русских писателей. Страдания, претерпенные литературным миром за четыре года лжеком-

мунистической олигархии, настолько тяжки, что у меня – повторяю уже не однажды мною сказанное – нет духа анафематствовать тех, кто не выдержал и сдался на милость победителей. Говорят, что военный отряд, обреченный бездейственно стоять под неприятельским огнем, в состоянии вытерпеть потерю только 10 % своего состава, – затем начинается паника и готова сдача. Литературный мир Петрограда потерял ровно треть своих действительных сил и, однако, продолжал еще отстаивать свои окопы, не опуская старого знамени, завещанного ему культурой XIX века. Ограничиваю эру потому, что XX век покуда не подарил человечеству ничего, кроме варварства, убийства, рабства и орудий, предназначенных к упрочению в мире этих дивных начал.

Россия требует сейчас много помощи от Европы. Количество этой помощи определяется стихийностью бедствия – «по человечеству». Но распределение ее должно руководиться не только чувством, но и разумом. И, признаюсь, очень часто бывает мне, хорошо знающему петроградские учреждения, досад-

но и обидно, когда я вижу европейскую помощь, двинутую в таком неудачном направлении, что она уподобляется дождю, пролившемуся в море, тогда как в двух шагах нивы погибают от засухи. Рекламный крик, на который большевики великие мастера и, не жалея денег, располагают для того сильными и грязными средствами, выдвинул на первый план нужду ряда просветительных учреждений соглашательского типа, совсем уж не такую острую – именно потому, что они пользуются фавором большевиков и имеют от них санкцию и материальную поддержку. Наоборот, нужда учреждений, чуждающихся большевизма, совершенно не доходит до ушей европейского общественного мнения. А когда она случайно прорывается и бывает услышана, то зачастую оказывается ограбленной даже и в тех редких крохах, которые выпадают ей на долю. Прошлым летом американские друзья А. Е. Кауфмана прислали для Дома литераторов ящик продуктов. Случайно, заблудившись, он попал в горьковский Дом ученых, в руки пресловутого распорядителя этого учреждения г. Роде. Сей последний не толь-

ко задержал посылку, но, когда Дом литераторов начал отстаивать свое право, г. Роде угрожал отправить посылку обратно: не доставайся, значит, ни нам, ни вам! И насилу-то, насилу-то Кауфман убедил этого зазнавшегося самодура-кафешантанщика переменить гнев на милость и не грабить заведомо чужую почту. Таким образом, даже в глазах мировой благотворительности фавориты лжекоммуны, *создавшей русскую нужду*, оказываются в гораздо выгодных условиях, *чем те, кто лжекоммуною в нужду загнан*. Перекричать Нансена с Горьким и К^о мудрено: у них в распоряжении слишком много громких рупоров. Но авось уши у людей рассудительных и искренне благожелательных к России сумеют, наконец, сквозь шум и треск оглушительной вселенской рекламы слышать из России также и тихие голоса тех, кто осужден большевиками на голод и телом, и духом, в отщепенстве за любовь к своей родине, за верность ее культурным заветам, за блюстительство чести и славы русской идеи и русской речи, за противодействие насилию, порабощению, холопскому низкопоклонству и льсти-

вым компромиссам. Дом литераторов, как я знал его в 1919–1921 годах, был и жил именно таким страдальцем, неуступчиво стойким в своей святой вере. И если мой слабый голос привлечет к этому прекрасному свободобивому учреждению некоторое внимание моих читателей и обратит к нему их симпатии, я почту себя сделавшим посредством этого повествования не худое дело и буду тем искренне счастлив.